

ИСТОРИЯ

Т. В. Куш

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПРАКТИКА В ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ

Эпистолярный жанр, унаследованный от античности, имел широкое распространение на протяжении всей истории Византии. Письмо в контексте византийской риторической литературы воспринималось как особый вид искусства с присущими только ему правилами и нормами. Следование негласным «законам жанра», которое являлось императивным для византийцев в эпистолярной практике, определило в значительной мере стереотипность сочинений такого рода. Однако письмо было «окутано аурой человеческого духа», несмотря на соблюдение строгого литературного канона [см.: Поляковская, 1991, 910]. Несмотря на малую насыщенность текста конкретно-историческим материалом (в сравнении с другими письменными источниками), эпистолы тем не менее содержат уникальную информацию, воссоздающую мировоззренческие, этические и эстетические ориентиры авторского сознания. Кроме того, этикет, который не только пронизывал изнутри эпистолы, но и сопровождал обмен письмами, отражает поведенческие стереотипы тех, кто оказался вовлеченным в эпистолярные связи.

Наиболее яркое представление о специфике эпистолярной практики византийцев дает обращение к типу «дружеского послания», наряду с официальными и деловыми письмами существовавшего в византийской эпистолографии. Этот тип писем был формой интеллектуального общения, присущей главным образом образованной части византийского общества. В силу этого эпистолярная практика, порожденная определенной социальной средой, сохраняла элитарный характер.

Главной темой византийских эпистолярных сочинений всегда оставалась дружба (φιλία) [Hunger, 1978, 222; Koskenniemi, 1956, 115; Treu, 1961, 428—431].

По мнению современников, письмо уже само по себе служило свидетельством дружеского расположения к адресату. Эта традиция берет свое начало в поздней античности, когда утвердилось представление о том, что письмо есть выражение дружеских чувств, а дружба и письмо часто употребляются в тесной связи друг с другом [Thraede, 1970, 126—127]. Однако степень дружбы и подлинность заверений в ней могли быть различными: от соблюдения правил «хорошего тона» до действительно искренней дружбы. В письмах это этическое ранжирование нашло отражение в разной степени откровенности, искренности клятв, едкости характеристик, настойчивости в просьбах, в участии и внимании к жизни адресата. Общий тон послания также зависел во многом от социального статуса его получателя. В эпистолах, адресованных лицам императорского достоинства или занимающих высокие должности, автор выдерживал дистанцию, смягчая упреки и усиливая панегиристичность высказываний. В письмах к людям равного социального статуса лести звучала более взвешенно, а укоры — настойчивей.

В эпистолярных сочинениях, которые носили на себе отпечаток «ученой дружбы», позволялась определенная свобода в мыслях, в проявлении чувств и выражений. Однако византийская эпистолярная традиция сохраняла свою зависимость от определенного этикета и вынуждена была удовлетворять правилам «хорошего тона». Это обусловило наличие стандартных фраз и клише, метафор, высокий уровень деконкретности, использование элементов античного семиотического ряда, что приводило к эзотеричности и многослойности текста.

Для интеллектуалов письма имели особое значение, поскольку с их помощью сокращались расстояния, разделяющие друзей, и восполнялся недостаток личного общения. Выражаясь словами автора конца XIV в. Мануила Калеки, «стремящиеся друг к другу по причине их дружбы встречаются с помощью писем» [Correspondance de Manuel Calekas, 1950, *ep.* 24, 6—7]. Поэтому почти каждое послание содержало слова благодарности за полученное послание или lamentации по поводу долгого их отсутствия. Излюбленное и простое средство от разлуки, письма доставляли радость корреспондентам: «мы, конечно, изумлялись многочисленности твоих писем к нам, потому что они — явное доказательство того, что нас любят и вспоминают» [Ziegler, 1951, *ep.* 1, 1—2]. Иоанн Евгеник в послании своему другу описал то воздействие, которое оказало письмо на получателя: «письма полностью овладевают нами, не только очаровывая разум и душу, но и волнуя сердце» [Λαμπρος, 1912, *ep.* 4, 7—9]. Несмотря на риторичность подобных высказываний, которая отчасти порождена эпистолярными нормами, все же эти слова были продиктованы в первую очередь искренними чувствами.

Следуя традициям византийского дружеского эпистолярия, автор прежде всего был обязан отдать должное риторическому таланту своего адресата, которое запечатлено во всех его посланиях: «...достаточно только упомянуть твои письма и таким образом возбудить похвалу тебе» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 49, 7]. Регулярный обмен письмами доказывал неизменность чувств и преданность дружбе («мы радуем друг друга привычным образом — письмами» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 189, 10]). Получение письма, «этого знака дружбы»

[Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 85, 8], вызывало благодарность у адресата. Считалось хорошим тоном ответное послание начать именно словами признательности за полученное письмо. Подобные штампы входили в число обязательных элементов эпистолярного этикета.

Письмо было также негласной ареной, на которой мерились своим талантом корреспонденты, поскольку оно позволяло продемонстрировать всю палитру риторических приемов, степень эрудиции и образовательной подготовки. Византийский император Мануил II Палеолог, который был, по мнению современников, «философом на троне», поддерживал образованного друга в его стремлении продемонстрировать собственные добродетели, составив изысканное письмо: «ты уверенно применил свое мастерство, и твое достойное сочинение добавило блеска нашему отечеству и его гражданам. Было бы нехорошо скрывать твои превосходные качества в тишине» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 45, 62]. В письме отражались мастерство, риторический талант автора, поэтому особого восхищения удостаивались «гармония выражений, ритм сравнений, сила напряжения, острота размышлений, великолепная речь и имеющиеся проблемы, блеск образов, великая похвала друзьям» [Isidore of Monemvasia, 1891, *ep.* 2, 16—18]. Исидор Киевский, восхищаясь посланием друга, отмечал, что оно отразило все качества, присущие автору: «До такой степени благородное, наикрасивейшее, письмо показало всем твой прекрасный образ мыслей, таким образом оно обнаружило в тебе и ловкого ритора, и государственного человека, и почтенного философа, но и доброго друга» [Ibid., *ep.* 2, 12—15].

Вполне естественным стремлением было и желание написать о чем-то приятном, что доставило бы другу радость и приятные минуты, ведь одним из обязательных качеств, присущих истинному другу, было умение беречь чувства своего близкого и способность разделить его радости и беды. И поэтому отсутствие приятных новостей или же, наоборот, свалившиеся неприятности зачастую являлись причиной задержки ответного письма. Мануил II Палеолог объяснял другу Мануилу Хрисолоре причины своего долгого молчания как раз отсутствием добрых вестей: «Я часто хотел написать тебе, но руку мне сдерживала неспособность написать то, чем ты бы наслаждался» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 37, 2].

Письмо создавало иллюзию присутствия [Karlsson, 1962, 40—41], тем самым компенсируя недостаток в личном общении. Поэтому византийское письмо можно рассматривать как «речь, запечатленную на бумаге» [Библер, 1989, 31]. Уже само понятие «речь» противопоставляется монологу и нацеливает читателя на зримое или предполагаемое присутствие партнера. Политик и интеллектуал XIV в. Димитрий Кидонис зафиксировал подобное отношение к тексту послания: «я надеялся сам увидеть и услышать тебя, когда читал твое письмо» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 164, 3]. Подобное отношение к эпистолярию демонстрирует такое свойство, присущее не только византийской культуре, как диалогичность культуры. Это явление четко проступает в эпистолярных текстах, так как письмо является слепком диалога двух людей, или изречениями, которые не только

ожидают ответа, но и обязательно предполагают его. Идеалом всей поздневизантийской эпистолографии является «союз прекрасной беседы» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 175, 10].

Но письмо расценивалось адресатом не только как возможность услышать голос своего друга. «Текст — это не только (может быть, не столько) голос; это — слушание чужой встречной речи» [Библер, 1989, 32]. Это создание, а точнее, переживание иллюзии разговора, в котором важно не то, что сказано, а то, как это услышано. Мануил II Палеолог благодарил Кидониса за образность всего изложенного в письмах и сообщал об эффекте, произведенном прочитанным текстом: «И ты, который описал события в письме, сделал нас скорее очевидцами, чем слушателями» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 4, 6—7]. Античное представление о том, что письмо есть материализованный на бумаге диалог, выливалось в частую замену слова «писать» на другое, более соответствующее восприятию слово — «говорить». Поэтому послание Мануила II Палеолога Кидонис принимал как «письмо от твоего голоса» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 192, 19].

Тем не менее, насколько бы ни были прекрасны письма, они не в состоянии полностью заменить живого общения, поэтому призывы отправиться навстречу становится лейтмотивом почти каждого послания. И «надеждой вновь увидеть друг друга и вместе многое сделать» [Ibid., *ep.* 162, 22] наполнялись строки писем.

Нередко письма сопровождались подарками, которые должны были укрепить корреспондента во мнении, что автор питает истинно дружеские чувства. В качестве дара другу могли быть продукты питания, вино, цветы, медицинские средства, специи [см.: Karpozilos, 1995, 69—84]. Автор XV в. Геннадий Схолярый в письме императору Константину Палеологу благодарил за подарки, который тот ему отправил [Γεωργίου του Σχολαρίου, 1928, 471]. Исидор Киевский сопроводил свой дар (индийские благовония) деспоту Пелопоннеса изысканным комментарием, сравнивая хорошо подобранную смесь пряностей с удачным набором качеств правителя [см.: Ziegler, 1951, *ep.* 2, 25—26]. Блестящие сопроводительные слова делали преподнесенный подарок еще более ценным. Поэтому и благодарность звучала как за дар, так и за добрые слова: «письмо так изящно составлено, что подарок, упомянутый тобой как маленький и дешевый, был воспринят нами как прекрасный и совершенный, который мы оценили по достоинству» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 2, 8—10]. В качестве презента другу могли выступать также собственные сочинения и старые рукописи, которыми обменивались друзья. Димитрий Антиох просил в письме своего друга выслать ему книгу древнего автора, чтобы он «мог присоединиться к его учености» [Darrouzès, 1964, 91]. Подарок, сопровождавший письмо, усиливал радость получения послания от друга.

Особо тягостной для друзей была длительная разлука. Она создавала труднопреодолимые барьеры для общения. «Если нет ничего более горького, чем разлука для тех, кто сильнее всего хочет быть вместе, если жизнь становится невыносимой для тех, кто знает, как подобает любить, то какое же удовольствие могут получить они, разделяя общество друг друга?» [The Letters of

Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 3, 28—31]. Долгая разлука с другом воспринималась как невыносимое испытание. Все обстоятельства, которые препятствовали долгожданной встрече, казались жестоким испытанием для дружбы. Даже любимому городу, посещение которого затянулось, ставится в упрек, что он насильственно удерживает человека вдали от друзей [Johannes Chortasmenos, 1969, *ep.* 21, 3—5].

Но если разлука неизбежна, то «утешь, отправляя друзьям письма» [Ibid., *ep.* 21, 17—19]. Письмо становилось единственным способом объединить друзей, которые были разделены обстоятельствами. По мнению Исидора Киевского, «когда каждая из двух сторон слишком отдалена и ни словами, ни глазами не может наслаждаться друг другом» [Ziegler, 1951, *ep.* 1, 2—3], на помощь могли прийти письма, сокращающие расстояния и поддерживающие связующую друзей нить.

Ту зыбкую связь, которую рождали письма, трепетно сохраняли. Исидор Киевский, скучая сам по Мануилу Хрисолоре и зная, что и тот чувствует подобное («сколько печали по нам ты испытал, столь много времени находясь в чужой стране» [Ziegler, 1952, *ep.* 5, 139]), старался не оставить друга в его бесконечных переездах («поэтому я пишу письма, куда только возможно было бы» [Ibid., 140]).

Многочисленность писем не могла оставить равнодушным получателя, подтверждая незыблемость дружеских чувств. Исидор Киевский, пораженный числом получаемой корреспонденции, восхищался способностью друга поддерживать дружбу: «мы, конечно, изумлялись многочисленности твоих писем к нам по той причине, что они являлись явным доказательством того, что нас любят и вспоминают» [Ziegler, 1951, *ep.* 1, 1—2]. Корреспондент радовался также большим по размеру эпистолам, поэтому друзья призывали друг друга «покончить с лаконичностью писем и трудиться над их пространностью» [Démétrius Cydonès, 1956, *ep.* 78, 6—7].

Практика составления писем предполагала и следование известному правилу *λαχωνίξειν*, согласно которому в рамках небольшого текста необходимо было достичь емкости изложения. Мануил II в письмах к Мануилу Хрисолоре заботился о соблюдении этого закона эпистолографии. Несколько раз он словно останавливал себя, чтобы не нарушить положенную лаконичность письма, замечая один раз, что «нужно сократить слово, сохраняя закон писем» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 38, 36]. Замечания подобного рода могут говорить о том, что император считал Хрисолору осведомленным в вопросах эпистолярного этикета и боялся нарушить правила составления писем. Это еще раз подчеркивало признание императором риторических талантов своего адресата, которыми тот несомненно обладал, и давало косвенную оценку Хрисолоре как знатоку законов эпистолографии. А эти скрытые ссылки на принятые в ученой среде правила говорят в пользу того, что Мануил II и Хрисолора разговаривали на одном «интеллектуальном» языке.

Долгое же отсутствие писем из-за молчания адресата доставляло беспокойство его другу, «потому что молчанием мы раним дружбу» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 189, 7]. Человеку лишь приходилось догадываться, что мешает другу

написать: «молчание было вызвано отъездом, или болезнью, или вынужденными твоими делами, из-за которых некоторые забывают и самих себя» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 85, 12—14]. Призывы написать и прояснить причины этого сменились более настойчивыми упреками («благодаря своему молчанию ты приказываешь и нам онеметь» [Ibid., *ep.* 175, 9—10]), которые доходили до угроз разрыва дружеских отношений. Именно поэтому Кидонис, пытаясь воздействовать на Радена, заявлял в письме о готовности прекратить всякую переписку с ним, если тот не нарушит своего молчания [Ibid., *ep.* 273, 4—14].

Эпистолярная традиция требовала трепетного отношения к письмам, которые бережно сохранялись, копировались, завещались [см. об этом: Сметанин, 1987, 175]. Ценился не только труд, вложенный в составление, но и образец риторического таланта автора, поскольку после смерти только письма могли показать величие человека, запечатлевшего свой образ мыслей на бумаге. Кидонис после смерти друга, вероятно, не раз перечитывал послания того, «кто оставил нам утешение в письмах» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 174, 33].

Любое эпистолярное послание, как, впрочем, и другие виды сочинений, изначально создавалось для публичного прочтения [см.: Аверинцев, 1997, 206]. И хотя «Демосфен советует делать речи не для удовольствия публики, а для наилучшего» [Johannes Chortasmenos, 1969, *ep.* 23, 2—3], тем не менее письмо предполагалось озвучить перед аудиторией. «Речь, которую ты мне отправил, прочитал внимательно и заботливо и сам, и дал прочитать здешним ученым. Ибо ты, мне кажется, отправил его особенно для того, чтобы много других людей увидело написанное» [Lettres grecques de Francois Filelfe, 1892, *ep.* 3, 3—5]. Поэтому та информация, которая предназначалась только адресату, «кодировалась», образуя второй (скрытый) слой информации — так называемый подтекст. Для непосвященных слушателей, таким образом, она оставалась недоступной, и они могли лишь оценивать риторические таланты автора. Письмо не только зачитывалось и обсуждалось в присутствии посторонних, но его могли передать третьему лицу. Это придавало любому сочинению личного характера (каким по определению являлось дружеское послание) публицистическую окраску. Этому способствовало и содержание самих писем. Зачастую в них излагались собственные философские рассуждения, приводилась оценка каких-то политических событий, давались дидактические наставления. Но публичное прочтение задевало и честлюбивые струны человеческой души, так как до общественности доходили добрые слова и похвала автора, к которым слушатели могли присоединиться.

Письма нередко превращались в филологический трактат или философский дискурс. Выходя за узкие рамки эпистолярной формы, письма становились местом изложения собственных мыслей, анализом философских концепций, сравнением взглядов различных философов. Поэтому все свое письмо писатель XV в. Андроник Каллист отвел под описание аристотелевской системы образования, подробно останавливаясь на ее составляющих: диалектике, этике, математике, физике и метафизике [см.: Powell, 1938, *ep.* 1]. Ученики Геннадия Схолария посредством писем обсуждали с учителем дискуссионные вопросы. Так, один из его

учеников Иоанн с Лесбоса поставил перед ним вопросы о душе и духе, и в ответных письмах Схолярий размышлял о методе решения этой проблемы [Ζηση, 1980, 359]. А корреспонденция двух известных интеллектуалов Виссариона Никейского и Георгия Гемиста Плифона превратилась в философский диспут, в котором в центре внимания стояли вопросы математики и календарных исчислений [см.: Aus Bessarions Gelehrtenkreis, 1967, *ep.* 18, 19].

Средневековое сознание не отделяло эстетическую функцию любой деятельности от дидактической, идеологической или какой-то другой. В связи с этим любой текст (будь-то научный трактат, деловое послание, официальный документ, дружеское письмо), кроме своего непосредственного функционального назначения, обязательно должен был удовлетворять эстетическим нормам данной культуры. Поэтому автор уделял особое внимание чистоте стиля, оригинальности сравнений, красоте аллюзий. Умение автором своевременно использовать эстетические приемы свидетельствовало о его образованности, литературных способностях, знакомстве с правилами риторики. На содержательном уровне это выражалось в использовании шаблонных формул, традиционных метафор, исторических сюжетов, известных библейских и еще чаще мифологических образов. Это зачастую усугубляло деконкретизацию текста, когда трудно провести границу между реальным событием, общим местом или литературным приемом.

Ни один из эпистолографов поздней Византии не мог обойтись без использования античных элементов культуры. Актуальными остаются ссылки на греческих и римских писателей и философов, известные мифологические образы, античные пословицы. Для всей византийской культуры проблема культурного наследия была ключевой, что выразилось в силе традиций и устойчивости стереотипов [см., например: Бычков, 1977, 5; Удальцова, 1988, 33]. Греческие классики были объектом не только повышенного внимания, но и образцом для подражания. Византийская традиция признавала и даже поощряла любые компиляции, сокращения, комментарии древних источников. Византия, по выражению Б. Татакиса, могла позволить себе «фамильярничать» с греческой культурой, ассимилироваться с ней [см.: Tatakis, 1949, 229—230]. В силу этого разрыв между высокой, интеллектуальной, и профанной культурой оказался столь велик.

Античность выступала исходным пунктом любых научных штудий, поэтому постоянное оглядывание на классиков и подражание им [Hunger, 1969—1970, 15—38] являлись неперенными атрибутами любого сочинения начиная от простого письма и заканчивая философским трактатом. Авторитет предшественников был настолько незыблем и неоспорим, что именно древние авторы были высшими судьями для византийцев. Византийский интеллектуал рубежа XIV—XV вв. Иоанн Хортасмен полагался не на оценку современников, полных бесчисленных предрассудков, а на мнение предшественников: «я не допускаю судилища тех, кто такого же возраста, как я сам, кто полон подозрения; надеясь на неподкупных судей, я придерживаюсь древних учителей, с которыми соглашаются многие из людей» [Johannes Chortasmenos, 1969, *ep.* 40, 25—28]. Мануил II Палеолог в письме, адресованном митрополиту Фессалоники Гавриилу, подчеркивал, что для писателя

ориентирами должны служить античные образцы, однако достичь блеска и изысканности классической литературы он считал не под силу его современникам: «Конечно, хорошо, что пишущие должны всеми силами стремиться смотреть на тех, кто в искусстве достиг совершенства, и принимать их в качестве образцов, но они также должны четко сознавать, что они не достигают того уровня, и не должны чувствовать стыд из-за того, что те мужи превосходят их, а также не следует считать невыносимым то, что их собственные труды далеки от трудов Демосфена, Фукидида и им подобным. Ибо достижения мужей прошлого выше понимания нынешних. Конечно, если вы поместите труды древних рядом с современными, вы будете сравнивать “золото с бронзой”». Ибо настолько уступают наши сочинения, что никто из живущих не исторг бы и слова, если бы необходимо было писать, как эти ученики Гермеса и Муз, или не писать совсем. Потому что просто невозможно говорить так, как могли эти люди» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 52, 19—29]. В силу этого византийская эпистолярная традиция, ориентированная на следование классическим образцам, культивировала трепетное отношение к античному наследию.

В рамках литературных штудий образуется теория *μίμησις* (имитация, подражание) классических авторов [см.: Hunger, 1972, 4]. Дихотомия между высокой литературой и реальностью была, по мнению К. Манго, ярко выраженной чертой византийской культуры [см.: Mango, 1984, 17]. Византийская «верхушечная» литература, оторванная от реальной народной среды, опиралась на отчужденные в древности традиции [см. об этом: Попова, 1978]. Речевые архаизмы были ее следствием. При пренебрежительном отношении к живому народному языку не только сохранялись, но и культивировались аттицизмы древних текстов. Это приводило к созданию рафинированного, «интеллектуального» языка, далекого от языка толпы и понятного лишь избранным.

Подражание античности и культ древнегреческого языка способствовали отчуждению интеллектуалов от основной массы своих земляков. Они заведомо предпочитали говорить на аттическом языке, стремились архаизировать речь, уподобляясь своим великим предшественникам, и избегать употребления профанных разговорных фраз [см.: Hunger, 1972, 24]. В их кругу стыдились разговаривать и тем более писать на живом обиходном языке, поскольку это было уделом непросвещенных, риторически не подготовленных, на которых высокомерно взирали интеллектуалы. Это приводило к сознательному отказу от настоящего и постоянной оглядке на прошлое, вынуждало собственную речь облачать в античные одежды. Поэтому столь распространенной практикой оставалась стилизация под эллинский язык, о чем с тщательностью заботились и Исидор Киевский, и Лаоник Халкокондил, и другие авторы. Писателю приходилось заботиться о языке и стиле своего сочинения, чтобы не быть уличенным в необразованности.

Византийские эпистолографы извинялись за разговорный тон своего сочинения, поскольку это не соответствовало принятому в этом кругу правилу говорить в духе великих классиков, не опускаясь до языка толпы. Димитрий Кидо-

нис в письме к молодому другу Тарханиоту заметил, что старался писать как Платон, чтобы не бояться быть высмеянным [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 78]. Мануил II Палеолог, при дворе которого существовал интеллектуальный кружок, в ответном письме другу, жившему на Кипре и приславшему риторически совершенное послание, заметил, что тот «стал фокусником, заставив даже Кипр говорить с нами на аттическом» [The Letters of Manuel II Palaeologus, 1977, *ep.* 32, 9]. Создание этого искусственного языкового барьера позволяло им сильнее ощутить свою исключительность и «посвященность». Мануил II Палеолог в письме к некоему Вальсамону очень точно описал результат подобной стилистической имитации: «В аудитории был человек, не знавший автора письма и его цель. Оно поразило его столь сильно, что он был почти готов поверить, что оно не могло быть плодом нашей нынешней литературной бедности, ибо он вспоминал некоторых из древних, чьи имена сохранилась даже после смерти благодаря их произведениям» [Ibid., 1977, *ep.* 34, 10—14].

Желание византийских авторов возродить эллинистический дух выразилось и в употреблении антикизирующих названий стран и народов. Это не означало, что они плохо знали имена тех, кто окружал византийскую ойкумену. Однако литература, ориентированная на классические образцы, должна была быть выше сиюминутной реальности. Как и их предшественники, писатели рубежа XIV—XV вв. чаще используют древние эквиваленты для современных им названий. Пространственно-географические наименования приобретают античное звучание. Поэтому Кидонис называет жителей столицы византийцами, а население Фессалоники македонцами. Мануил Калека вместо Франции употребляет ее языческое название Галлия. Мануил II Палеолог именует турок персами. По сути, в пространственно-временном измерении византийские писатели ощущали (или хотели ощущать) себя живущими в иной, уже несуществующей реальности. Мир прошлого наслаивался на мир реальный, рождая новую интеллектуальную реальность.

Ни один из эпистографов поздней Византии не мог обойтись без использования античных элементов культуры. Это соответствовало стилистике «палеологовского гуманизма». Не столько многочисленность древних цитат и реминисценций, сколько глубинное проникновение в смысл древних текстов и образов отразило гуманистические тенденции в поздневизантийской эпистолографии. Составляющие античного семиотического ряда употреблялись взвешенно, к месту, не только ради любования, но и для большей образности высказанной мысли. И если дается сравнение с Демосфеном или Цицероном, то можно представить, насколько человек по силе воздействия словом подобен древнегреческим ораторам. Образ Пифагора также нес на себе определенную смысловую нагрузку, и высказывание типа «...ты сделаешь нас из болтунов Пифагорами» [Démétrius Cydonès, 1960, *ep.* 175, 14] воспринималось как угроза молчанию, напоминая нам об обете, данном философом. Античные категории переменчивой судьбы и предопределения составляли суть мировоззренческих установок византийских авторов этого времени.

Средствами выразительности, которые неоднократно использовали эпистографы, все также оставались стереотипные риторические фразы, шаблонные формулы и клише. Некоторые из них оказались особенно распространенными в XIV—XV вв. в силу созвучности темам, которые беспокоили интеллектуальный мир. Так, кризисная ситуация в стране заставляла писателей обращаться к тем метафорам, которые были окрашены в пессимистические тона. Образы зимы, бурного моря и корабля, так хорошо знакомые античной литературе, вновь ожили на страницах писем, помогая придать эмоциональную глубину повествованию.

Стиль и риторика письма вынуждены были подчиняться нормам жанра и устойчивым традициям. Автору приходилось следовать «этикету» чувств и выражений и, невзирая даже на возможную конфликтность отношений и острую полемичность с адресатом, оставаться в рамках «хорошего тона», тонкой литературной и социальной условности. Эпистолярная практика, которая имела в Византии долгую традицию, определяла правила игры, которым следовали в мире византийской интеллигенции.

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.

Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура: (Идея культуры в работах М. М. Бахтина) // Одиссей: человек в истории. М., 1989.

Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977.

Поляковская М. А. Образ человека в византийском письме // XVIII Международный конгресс византинистов. Резюме сообщений. М., 1991.

Попова Т. В. Классическая литература в эпоху Палеологов: Византийская литература эпохи расцвета IX—XV вв. / Т. В. Попова, Л. А. Фрейберг. М., 1978.

Удальцова З. В. Вклад византийской культуры в культурное развитие Европы // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.

Сметанин В. А. Византийское общество XIII—XV веков по данным эпистографии. Свердловск, 1987.

Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolis, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica / Ed. L. Mohler. Paderborn, 1967.

Correspondance de Manuel Calekas / Publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950.

Darrouzès J. Lettres de 1453 // *Revue des Etudes Byzantines*. 1964. Vol. 22.

Démétrius Cydonès. Correspondance / Publ. par R.-J. Loenertz. Vaticano, 1960. Vol. 2.

Γεωργίου του Σχολαρίου. Απαντα τὰ ενδοσκόμμενα / Publ. L. Petit. Vol. 4. P., 1928.

Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz // Österreichische Akademie der Wissenschaft. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Wien, 1972. Bd. 277, abh. 3.

Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978.

Hunger H. On the Imitation (μίμησης) of Antiquity in Byzantine Literature // *Dumbarton Oaks Papers*, 1969—1970. Vol. 23/24.

Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters / Ed. W. Regel // *Analecta Byzantino-Russica*. Pg., 1891.

Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / Publ. H. Hunger. Wien, 1969.

Correspondance de Manuel Calekas / Publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950.

Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Textes du X-e siècle analysés et commentés. Uppsala, 1962.

- Karpozilos A.* Realia in Byzantine Epistolography XIII—XV Centuries // *Byzantinische Zeitschrift*. 1995. Bd. 88, h. 1.
- Koskenniemi H.* Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. Helsinki, 1956.
- Λαμπρος Σπ. Π.* Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά. Αθηναι, 1912. Τ. 1.
- Lettres grecques de Francois Filelfe* / Ed. E. Legrand. P., 1892.
- The Letters of Manuel II Palaeologus* / Ed. G. Dennis. Washington, 1977.
- Mango C.* Byzantine Literature as a Distorting Mirror / *Mango C.* Byzantium and its Image. Variorum. L., 1984.
- Powell J.* Two Letters of Andronicus Callistus to Demetrius Chalcocondyles // *Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher*. 1938. Vol. 15.
- Tatakis B.* La philosophie byzantine. P., 1949.
- Treu K.* Φιλία und ἀγάπη. Zur Terminologie der Freundschaft bei Basilios und Gregor von Nazianz // *Studi Clasiche*. 1961. Vol. 3.
- Thraede K.* Grundzüge griechisch-römischer Briefftopik. München, 1970.
- Migne J.-P.* Patrologiae cursus completus. Series graeca. P., 1866. T. 156.
- Ziegler A.W.* Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe Isidors von Kijev // *Byzantinische Zeitschrift*. 1951. Bd. 44.
- Ziegler A.W.* Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev // *Orientalia Christiana Periodica*. 1952. Bd. 18.
- Ζηση Θ.* Γενναδιος Β' Σχολαριος: Βιος — Συγγράμματα — Διδασκαλία. Θεσσαλονίκη, 1980.

А. С. Мохов

К ВОПРОСУ О ВИЗАНТИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД ВОЙНЫ С ПЕЧЕНЕГАМИ 1046—1053 гг.*

В правление императора Константина IX Мономаха (1042—1054) Византия столкнулась со значительными внешнеполитическими проблемами. С одной стороны, империя проводила свою традиционную политику, основанную на ойкуменической доктрине. Продолжилось постепенное поглощение небольших лимитрофных государственных образований, расположенных в арабо-византийской пограничной зоне [подробнее см.: Obolensky, 1963, 54; Бартикян, Каждан, Удальцова, 1975, 21—26]. В 1044/45 г. утратило независимость Ширакское царство, а эмир Шатадидов Двина признал свою вассальную зависимость от империи. Другие государства Закавказья (Грузия, Вананд) также испытывали все возрастающее военное и дипломатическое давление Константинополя. Одновременно происходила существенная реорганизация восточных фем империи, конечной целью которой также являлось продолжение территориальной экспансии на Востоке [см.: Юзбашян, 1988, 183—188].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Фемная система Византийской империи во второй половине X—XI в.: военно-административный аспект») № 05-01-01134а.